

·thebigbook·

Книги Дафны Дюморье

ПТИЦЫ и другие истории

ТРАКТИР «ЯМАЙКА»

ПОЛЕТ СОКОЛА

РАНДЕВУ и другие рассказы

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ

ПРАВЬ, БРИТАНИЯ!

СИНИЕ ЛИНЗЫ и другие рассказы

КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ

БЕРЕГА: Роман о семействе Дюморье

НЕ ПОЗЖЕ ПОЛУНОЧИ
и другие истории

ГОЛОДНАЯ ГОРА

БОГЕМА

ДУХ ЛЮБВИ

ФРАНЦУЗОВ РУЧЕЙ

ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ

ЗАМОК ДОР

ДОМ НА БЕРЕГУ

РЕБЕККА

МОЯ КУЗИНА РЕЙЧЕЛ



АЗБУКА

Санкт-Петербург

ГЛАВА 1

В старину преступников вешали на перепутье Четырех Дорог.

Но это было давно. Теперь убийца расплачивается за свое преступление в Бодмине на основании приговора, вынесенного судом присяжных. Разумеется, если совесть не убьет его раньше. Так лучше. Похоже на хирургическую операцию. Тело, как положено, предают земле, хоть и в безымянной могиле. В прежние времена было иначе. Вспоминаю, как в детстве я видел человека, висящего в цепях там, где сходятся Четыре Дороги. Его лицо и тело были обмазаны смолой, чтобы он не сгнил слишком быстро. Он провисел пять недель, прежде чем его срезали; я видел его на исходе четвертой.

Он раскачивался на виселице между небом и землей, или, как сказал мой двоюродный брат Эмброз, между небесами и адом. На небеса он все равно бы не попал, но и ад его жизни был для него потерян. Эмброз ткнул тело тростью. Как сейчас вижу: оно поворачивается от дуновения ветра, словно флюгер на ржавой оси, — жалкое пугало, некогда бывшее человеком. Дождь сгноил его брюки, не одолев плоть, и лоскутья грубой шерстяной ткани, будто оберточная бумага, свисают с конечностей.

Стояла зима, и какой-то шутник-прохожий сунул в разорванную фуфайку веточку остролиста. Тогда,

в семь лет, этот поступок показался мне отвратительным. Должно быть, Эмброз специально привел меня туда; возможно, он хотел испытать мое мужество, посмотреть, как я поступлю: убегу, рассмеюсь или заплачу. Мой опекун, отец, брат, советчик — в сущности, все на свете, он постоянно испытывал меня. Помню, как мы обошли виселицу кругом, и Эмброз постукивал по ней тростью. Потом он остановился, раскурил трубку и положил руку мне на плечо.

— Вот, Филип, — сказал он, — что ожидает нас всех. Одни встретят свой конец на поле боя. Другие — в постели. Третьи — где будет угодно судьбе. Спасения нет. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Но так умирает злодей. Пусть его пример послужит тебе и мне предостережением, ибо человек никогда не должен забывать о трезвости и умеренности.

Мы стояли рядом и смотрели на раскачивающийся труп, словно пришли развлечься на бодминскую ярмарку и перед нами висел не покойник, а старая Салли и меткий стрелок получал в награду кокосовый орех.

— Видишь, к чему может привести человека вспышка ярости, — сказал Эмброз. — Это Том Дженкин, честный, невозмутимый малый, пока не напьется. Жена его действительно была на редкость сварлива, но это не причина, чтобы убивать ее. Если бы мы убивали женщин за их язык, то все мужчины стали бы убийцами.

Я пожалел, что Эмброз назвал имя повешенного. До той минуты он был просто мертвецом, безликим и безымянным. Стоило мне взглянуть на виселицу, как я понял, что повешенный будет являться мне по ночам — безжизненный, вселяющий ужас. Теперь же он обрел связь с реальностью, стал человеком с водя-

нистыми глазами, который торговал крабами у городского причала. Летом он обычно стоял со своей корзиной на ступенях и, чтобы повеселить детей, устраивал уморительные крабьи гонки. Совсем недавно я видел его.

— Ну, — сказал Эмброз, — что ты о нем думаешь?

Я пожал плечами и ударил ногой по основанию виселицы. Эмброз не должен был догадаться, что творится у меня на душе и что я испугался. Он стал бы презирать меня. В свои двадцать семь лет Эмброз был для меня центром мироздания, во всяком случае — центром моего маленького мира, и я стремился во всем походить на него.

— Когда я видел его в последний раз, — ответил я, — у него было веселое лицо. А теперь он недостаточно свеж даже для того, чтобы пойти на наживку своим крабам.

Эмброз рассмеялся и потрепал меня за ухо.

— Молодец, малыш, — сказал он. — Ты говоришь как истинный философ. — Затем добавил, понимая мое состояние: — Если тебя тошнит, сходи в кусты. И запомни: я ничего не видел.

Он повернулся спиной к виселице и зашагал в сторону новой аллеи, которую велел прорубить в лесу, чтобы сделать вторую дорогу к дому. Я не успел дойти до кустов и был рад, что он ушел. Вскоре я почувствовал себя лучше, но зубы у меня стучали и тело бил озноб. Том Дженкин снова превратился в безжизненный предмет, в охапку тряпья. Более того — он послужил мишенью для брошенного мною камня. Расхрабрившись, я смотрел на труп, надеясь, что он шевельнется. Но этого не произошло. Камень глухо ударился о намокшую одежду и отлетел в сторону. Устыдясь своего поступка, я поспешил в новую аллею разыскивать Эмброза.

Да, с тех пор минуло целых восемнадцать лет, и, кажется, я никогда не вспоминал об этом случае. До самых недавних дней. Не странно ли, что в минуты жизненных потрясений мысли наши вдруг обращаются к детству? Так или иначе, но меня постоянно преследуют воспоминания о бедняге Томе, висящем в цепях на перепутье дорог. Я никогда не слышал его историю, да и мало кто помнит ее сейчас. Он убил свою жену — так сказал Эмброс. Вот и все. У нее был сварливый нрав, но это не повод для убийства. Видимо, будучи большим любителем выпить, он убил ее во хмелю. Но как? Каким оружием? Ножом или голыми руками? Быть может, в тот зимний вечер он, спотыкаясь, возвращался домой из харчевни у причала и душа его горела любовью и лихорадочным возбуждением? И высокий прилив заливал ступени причала, и полная луна сияла в темной воде... Кто знает, какие грезы будоражили его воспаленный мозг, какие буйные фантазии...

Возможно, когда он ощупью добрал до своего домика за церковью, бледный, пропахший крабами малый со слезящимися глазами, жена напустилась на него за то, что он наследил в доме. Она разбила его грезы, и он убил ее. Именно такой могла быть его история. Если жизнь после смерти не пустая выдумка, я отыщу беднягу Тома и расспрошу его. Мы будем вместе грезить в чистилище. Но он был пожилым человеком лет шестидесяти, а то и старше. Мне же только двадцать пять. Мы будем грезить о разном. Итак, возвращайся к своим теням, Том, и оставь мне хоть малую толику душевного покоя. Я бросил в тебя камень, не ведая, что творю. Прости меня.

Все дело в том, что, как бы ни была горька жизнь, надо жить. Но как — вот в чем вопрос. Трудиться изо

дня в день — невелика премудрость. Я стану мировым судьей, как Эмброз, и со временем меня тоже изберут в парламент. Как и все члены моей семьи до меня, я буду пользоваться почетом и уважением. Усердно возделывать землю, заботиться о своих людях. И никто никогда не догадается, какая вина тяготит мою душу; никто не узнает, что, терзаемый сомнениями, я неустанно задаю себе один и тот же вопрос. Виновна Рейчел или невиновна? Может быть, я и это узнаю в чистилище.

Как нежно и трепетно звучит ее имя, когда я шепчу его! Оно медлит на языке, неторопливое, коварное, как яд — смертельный, но убивающий не сразу. С языка оно переходит на запекшиеся губы, с губ возвращается в сердце. А сердце управляет и телом, и мыслью. Освобожусь ли я когда-нибудь от его власти? Через сорок, через пятьдесят лет? Или в мозгу моем навсегда останется болезненная крупица омертвевшего вещества? Частичка крови, отставшая от своих сестер на пути к сердцу, направляющему их бег? Быть может, когда все сущее окончательно утратит для меня смысл и значение, уснет и желание освободиться? Трудно сказать.

У меня есть дом, о котором надо заботиться, чего, конечно, ожидал от меня Эмброз. Я могу заново облицевать стены в местах, где проступает сырость, и содержать все в полном порядке. Могу продолжать высаживать кусты и деревья, озеленять склоны холмов, открытые ураганным ветрам с востока. Могу оставить после себя красоту, если ничего иного мне не дано. Но одинокий человек — человек неестественный, он быстро впадает в смятение. За смятением приходят фантазии. За фантазиями — безумие. Итак, я вновь возвращаюсь к висящему в цепях Тому Дженкину. Возможно, он тоже страдал.

Тогда, в тот далекий год, восемнадцать лет назад, Эмброз размахисто шагал по аллее, я брел за ним. На нем вполне могла быть та самая куртка, которую теперь ношу я. Старая зеленая охотничья куртка с локтями, обшитыми кожей. Я стал так похож на него, что мог бы сойти за его призрак. Мои глаза — это его глаза, мои черты — его черты. Человеком, который свистом подозвал своих собак и пошел прочь от перекрестка и виселицы, мог быть я сам. Ну что ж, я всегда этого хотел. Быть похожим на него. Иметь его рост, его плечи, его привычку сутулиться, даже его длинные руки, неуклюжие на вид ладони, его неожиданную улыбку, его стеснительность при встрече с незнакомыми людьми, его нелюбовь к суете, этикету. Простоту его обращения с теми, кого он любил, кто ему служил; те, кто говорит, будто я обладаю этими качествами, явно преувеличивают. И силу, оказавшуюся иллюзией, отчего нас и постигла одна и та же беда. Недавно мне пришлось на ум: а что, если после того, как он, с затуманенным, терзаемым сомнениями и страхом рассудком, чувствуя себя покинутым и одиноким, умер на той проклятой вилле, где я уже не застал его, — дух Эмброза покинул брненное тело, вернулся домой и, ожив во мне, повторил былые ошибки, вновь покори́лся власти старой болезни и погиб дважды. Возможно, и так. Я знаю одно: мое сходство с ним — сходство, которым я так гордился, — погубило меня. Именно из-за него я потерпел поражение. Будь я другим человеком — ловким, проворным, острым на язык, практичным, — минувший год был бы обычными двенадцатью месяцами, которые пришли и ушли.

Но я был не такой; Эмброз — тоже. Оба мы были мечтатели — непрактичные, замкнутые, полные теорий, которые никогда не проверялись опытом жизни;

и, как все мечтатели, мы были глухи к бурлящему вокруг нас миру. Испытывая неприязнь к себе подобным, мы жаждали любви, но застенчивость не давала пробудиться порывам, пока они не трогали сердца. Когда же это случалось, небеса раскрывались, и нас обоих охватывало чувство, будто все богатство мироздания принадлежит нам, и мы были готовы без колебаний отдать его. Оба мы уцелели бы, если бы были другими. Рейчел все равно приехала бы сюда. Провела бы день-два и навсегда покинула бы наши места. Мы обсудили бы деловые вопросы, пришли бы к какому-нибудь соглашению, выслушали завещание, официально зачитанное за столом в присутствии нотариусов, и я, с первого взгляда оценив положение, выделил бы ей пожизненную пенсию и навсегда избавился бы от нее.

Этого не произошло потому, что я был похож на Эмброза. Этого не произошло потому, что я чувствовал, как Эмброс. В первый же вечер по приезде Рейчел я поднялся в ее комнату, постучал и, слегка склонив голову под притолокой, остановился в дверях. Когда она встала со стула около окна и взглянула на меня снизу вверх, я по выражению ее глаз должен был понять, что увидела она вовсе не меня, а Эмброза. Не Филипа, а призрак. Ей надо было сразу уехать. Собрать вещи и уехать. Отправиться туда, где она своя, где все ей знакомо и близко, — на виллу, хранящую воспоминания за скрытыми ставнями окнами, к симметрично разбитым террасам сада, к плачущему в небольшом дворике фонтану. Вернуться в свою страну — летом выжженную солнцем, окутанную знойной дымкой, зимой — сурово застывшую под холодным ослепительным небом. Инстинкт должен был предупредить ее, что, оставаясь со мной, она

погубит не только явившийся ей призрак, но в конце концов и себя самое.

Вновь и вновь спрашиваю я себя: подумала ли она, увидев, как я стою в дверях, робкий, нескладный, объятый жгучим негодованием, сознавая, что я здесь — хозяин и глава, и вместе с тем гневно досадуя на свои длинные руки, неуклюжие, как у необъезженного жеребенка ноги, — подумала ли она: «Таков был Эмброс в свои молодые годы. До меня. Таким я его не знала» — и тем не менее осталась?

Возможно, именно поэтому при моей первой короткой встрече с Райнальди, итальянцем, он тоже постарался скрыть изумление, на мгновение задумался и, поиграв пером, которое лежало на его письменном столе, спросил: «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?» Инстинкт предупредил и его. Но слишком поздно.

Что прошло, то миновало. Возврата нет. Ничто в жизни не повторяется. Живой, сидя здесь, в своем собственном доме, я так же не могу вернуть сказанное слово или совершённый поступок, как бедный Том Дженкин, когда он раскачивался в своих цепях.

Ник Кендалл, мой крестный, с присущей ему грубоватой прямоотой сказал мне накануне моего двадцатипятилетия — всего несколько месяцев назад, но, боже, как давно: «Есть женщины, Филип, возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей вине приносят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я говорю тебе это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под документом, который я положил перед ним.

Да, возврата нет. Юноши, что стоял под ее окном накануне своего дня рождения, юноши, что стоял в

дверях ее комнаты в вечер ее приезда, больше не существует, как не существует и ребенка, который для храбрости бросил камень в повешенного. Том Дженкин, потрепанный образчик рода человеческого, никем незнаемый и не оплакиваемый, тогда, за далью этих восемнадцати лет, смотрел ли ты с грустью и состраданием, как я бегу через лес... в будущее?

Если бы я оглянулся назад, то в цепях, свисающих с перекладки виселицы, я увидел бы не тебя, а свою собственную тень.

ГЛАВА 2

Когда вечером накануне отъезда Эмброза в его последнее путешествие мы сидели вдвоем и разговаривали, у меня не было ощущения близкой беды. Предчувствия, что мы больше никогда не будем вместе. Осень подходила к концу; врачи в третий раз велели ему провести зиму за границей, и я уже привык к его отсутствию, привык в это время смотреть за имением. Когда он уехал в первый раз, я еще был в Оксфорде и его отъезд не внес никаких изменений в мою жизнь, однако на следующую зиму я окончательно вернулся и все время был дома, как он того и хотел. Я не тосковал по стадной жизни в Оксфорде — скорее, был даже рад, что расстался с ней.

Я никогда не стремился жить вне дома. За исключением лет, проведенных в Харроу¹, а затем в Оксфорде, я всегда жил здесь, с тех пор как меня привезли сюда полуторогодовалым младенцем после смерти моих молодых, рано умерших родителей. Эмброс

¹ Одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ; находится в пригороде Лондона.

проникся жалостью к своему осиротевшему двоюродному брату и вырастил меня сам, как вырастил бы щенка, котенка или любое другое слабое, одинокое существо, которому нужны защита и ласка.

Эмброз всегда хозяйничал не совсем обычно. Когда мне было три года, он рассчитал мою няньку за то, что она отшлепала меня гребенкой для волос. Этого случая я не помнил, но Эмброз потом рассказал мне о нем.

— Я чертовски рассердился, — сказал он мне, — увидев, как эта баба своими огромными шершавыми ручищами колотит твою крошечную персону за пустячный проступок, понять который у нее не хватило разумения.

Мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Не было и не могло быть человека более справедливого, более честного, более любящего, более чуткого и отзывчивого. Он обучил меня азбуке самым простым способом — пользуясь начальными буквами бранных слов (чтобы набрать двадцать шесть таких слов, потребовалась немалая изобретательность, но он справился с этой задачей), предупредив меня, чтобы я не произносил их при людях. Неизменно учтивый и обходительный, Эмброз робел при женщинах и не доверял им, говоря, что они приносят в дом несчастье. Поэтому в слуги он нанимал только мужчин, и их шатией управлял старый Сиком, дворецкий моего покойного дяди.

Эксцентричный, пожалуй, не без странностей — наши западные края известны причудами своих обитателей, — Эмброз, несмотря на сугубо индивидуальный подход к женщинам и к методам воспитания маленьких мальчиков, не был чудаком. Соседи его любили и уважали, арендаторы души в нем не чаяли. Пока его не скрутил ревматизм, он охотился зимой,

летом удил рыбу с небольшой лодки, которую держал на якоре в устье реки, навещал соседей, когда чувствовал к тому расположение, по воскресеньям ходил в церковь (хотя и строил мне уморительные гримасы с другого конца семейной скамьи, если проповедь слишком затягивалась) и всячески старался заразить меня своей страстью к разведению редких растений.

— Это такая же форма творения, как и все прочие, — обычно говорил он. — Некоторые мужчины пекутся о продолжении рода. А я предпочитаю растить жизнь из почвы. Это требует меньших усилий, а результат приносит гораздо большее удовлетворение.

Такие заявления шокировали моего крестного Ника Кендалла, vicария Паско и других приятелей Эмброза, которые пытались убедить его взяться за ум, обзавестись семьей и растить детей, а не родо-дендроны.

— Одного юнца я уже вырастил, — отвечал он, трепля меня за ухо. — Он отнял у меня двадцать лет жизни, а может, и прибавил — это еще как посмотреть. Более того, Филип — готовый наследник, так что не стоит говорить, будто я пренебрегаю своим долгом. Когда придет время, он выполнит его за меня. А теперь, джентльмены, садитесь и располагайтесь поудобнее. В доме нет ни одной женщины, а посему можно класть ноги на стол и плевать на ковер.

Естественно, ничего подобного мы не делали. Эмброс отличался крайней чистоплотностью и тонким вкусом, но ему доставляло истинное удовольствие отпускать такие замечания в присутствии нового vicария — бедняги, находившегося под каблуком у жены и обремененного целым выводком дочерей. По окончании воскресного обеда подавали портвейн,

и мой брат, наблюдая за его круговым движением, подмигивал мне с противоположного конца стола.

Как сейчас вижу: Эмброз, полусгорбившись, полуразвалившись — эту позу я перенял у него, — сидит на стуле, сотрясаясь от беззвучного смеха, вызванного робкими увещаниями викария, и вдруг, испугавшись, что может оскорбить его чувства, переводит разговор на предметы, доступные пониманию низенького гостя, и изо всех сил старается, чтобы тот чувствовал себя спокойно и уверенно.

Поступив в Харроу, я еще больше оценил достоинства Эмброза. Во время каникул, которые пролетали слишком быстро, я постоянно сравнивал брата и его приятелей со своими шумными однокашниками и учителями, сдержанными, холодными, чуждыми, по моим представлениям, всему человеческому.

— Ничего, ничего, — похлопывая меня по плечу, обычно говорил Эмброз, когда я, с побелевшим лицом и чуть не плача, садился в экипаж, отвозивший меня к лондонскому дилижансу. — Это всего лишь подготовка, что-то вроде объездки лошади. Потерпи. Ты и оглянуться не успеешь, как окончишь школу и я заберу тебя домой и сам займусь твоим обучением.

— Обучением — чему? — спросил я.

— Ты ведь мой наследник, не так ли? А это уже само по себе профессия.

И наш кучер Веллингтон увозил меня в Бодмин, чтобы успеть к лондонскому дилижансу. Я оборачивался в последний раз взглянуть на Эмброза. Он стоял, опершись на трость, в окружении своих собак. В уголках его глаз от искреннего сочувствия собирались морщинки; густые вьющиеся волосы начали сесть. Когда он входил в дом, свистом зовя собак, я проглатывал подступивший к горлу комок и чувствовал, как колеса кареты с фатальной неизбежностью

несут меня по гравиевой дорожке парка, через белые ворота, мимо сторожки привратника, — в школу, различая со всем, что я так люблю.

Однако Эмброс переоценил свое здоровье, и, когда мои школьные и университетские годы остались позади, пришел его черед уезжать.

— Мне говорят, что если я проведу здесь еще одну дождливую зиму, то окончу свои дни в инвалидном кресле, — однажды сказал он мне. — Надо отправляться на поиски солнца. К берегам Испании или Египта, куда-нибудь на Средиземное море, где сухо и тепло. Не то чтобы я хотел уезжать, но, с другой стороны, будь я проклят, если соглашусь кончать жизнь инвалидом. У такого плана есть одно достоинство. Я привезу растения, каких здесь ни у кого нет. Посмотрим, как заморские чертенята зацветут на корнуэльской почве.

Пришла и ушла первая зима, за ней без особых изменений — вторая. Эмброс был доволен путешествием, и я не думаю, что он страдал от одиночества. Он привез одному богу известно сколько саженцев деревьев и кустов, цветов и других растений всевозможных форм и оттенков. Особую страсть он питал к камелиям. Мы отвели под них целую плантацию, и то ли руки у него были особенные, то ли он знал волшебное слово — не знаю, но они сразу зацвели, и мы не потеряли ни одного цветка.

Так наступила третья зима. На этот раз Эмброс решил ехать в Италию. Он хотел увидеть сады Флоренции и Рима. Зимой ни там, ни там тепла не найдешь, но Эмброза это не беспокоило. Кто-то уверил его, что воздух там будет холодный, но сухой и можно не опасаться дождя. В тот последний вечер мы разговаривали допоздна. Эмброс был не из тех, кто

рано ложится спать, и мы нередко засиживались в библиотеке до часа, а то и до двух часов ночи, иногда молча, иногда беседуя, протянув к огню длинные ноги, а вокруг нас лежали свернувшиеся калачиком собаки. Я уже говорил, что у меня не было дурных предчувствий, но сейчас, возвращаясь мысленно назад, я спрашиваю себя: а не было ли их у него? Он то и дело останавливал на мне задумчивый, немного смущенный взгляд, потом переводил его на обшитые деревянными панелями стены, на знакомые картины, на камин, с камин — на спящих собак.

— Хорошо бы тебе поехать со мной, — неожиданно сказал он.

— Мне недолго собратся, — ответил я.

Он покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Я пошутил. Нам нельзя оставить дом обоим сразу на несколько месяцев. Видишь ли, быть землевладельцем — большая ответственность, хоть и не все так думают.

— Я мог бы доехать с тобой до Рима, — сказал я, увлеченный своей идеей. — И если не помешает погода, вернуться домой к Рождеству.

— Нет, — медленно проговорил он, — нет, это просто каприз. Забудь о нем.

— Ты действительно хорошо себя чувствуешь? — спросил я. — Ничего не болит?

— Слава богу, нет, — рассмеялся Эмброз. — Уж не принимаешь ли ты меня за инвалида? Вот уже несколько месяцев у меня не было ни одного приступа ревматизма. Вся беда в том, Филип, мальчик мой, что я до смешного привязан к дому. Когда ты поживешь с мое, то, возможно, поймешь меня.

Эмброз встал со стула и подошел к окну. Он раздвинул тяжелые портьеры и несколько мгновений внимательно смотрел на лужайку под окнами. Вечер